

## Сергеев Юрий Васильевич Рассказы

**Lib.ru/Современная литература:** [\[Регистрация\]](#) [\[Найти\]](#) [\[Рейтинги\]](#) [\[Обсуждения\]](#) [\[Новинки\]](#) [\[Помощь\]](#)

- [Комментарии: 1, последний от 06/10/2008.](#)
- © Copyright [Сергеев Юрий Васильевич](#) ([knvuj@mail.ru](mailto:knvuj@mail.ru))
- Обновлено: 17/07/2006. 46к. [Статистика.](#)
- [Сборник рассказов: Проза](#)
- **Аннотация:**

Оценка: **7.71\*9** Ваша оценка:

не читал

OK

*Первые рассказы, написанные в Армии о родных донских станичниках*

ДВОЕ

На деревянном крыльце клуба сидят двое. Отдыхают, измаявшись за день. Молодой сучит ногами, гокает костылем по щербатым ступеням. Старик нахохлился, с любопытством смотрит на ругающихся баб за забором. Тихо, тепло ластится ветерок. Вечереет. Скоро должны пригнать коров.

- Надысь волка видал у Песчаного пруда, - прерывает молчание мальчишка, - здоровый, чертяка! Вымахал из балки и бегёт на меня. Я на березу шасть!

Старик молчит.

- За ветками ездил на велосипеде, - продолжает паренек. - Говорят, с березовых веток отвар полезительный, бабка посылала.

Дед все же откликается на разговор:

- В войну их было страсть какая-то! Волков-то, по улицам бегали, собакам житья не было.

- И никто не охотничал?!

- Д-э-э... Казаки на фронте, остались одни калеки да ребятишки. Вот опосля войны поохотились! Зверья развелось, руками зайцев на огородах ловили.

- Чёй-то того, дед, прямо руками-то... - недоверчиво покосился малый.

- Ну петлями в терниках. Вот слухай, один случай расскажу.

Паренек придвинулся, вытащил из кармана горсть семечек, кинул пару в рот, сплюнул шелуху.

- Будешь, дед, семечки?

- Не-е, зубов уж нету, хлеб и то мусолю. Отщелкал-ся свое. Так вот слухай. Опосля войны это было. Осенью. Собрались мы по чернотропу в степные бараки, по-нынешнему - овраги, гаить. Две подводы запрягли. Шесть человек набралось, пяток собак-скалук, припасу всякого понабрали. Утром приехали к Студеному бараку. Четверо затаились в вершниках с ружьями, двое обошли барак снизу, начали гаить. А зверья пошло шубой! И лисы тебе, и зайцы. Убили трех, поехали в Леоничев, Широкий, они дюже лесом сплелись, как два брата.

Старик закурил, неторопливо спрятал замусоленный кисет. Глаза затуманились то ли от табака, то ли от воспоминаний...

- Так вот. Настрелялись досыта. Прошли и Кандрашкин и Гуров бараки, двинулись к Рассыпному. Дело к вечеру. Решили переночевать, а утром ишо погаить, на зорьке след хорошо собаки берут. Там и счас дом стоит, хутор когда-то был. Ну, значит, стали в Рассыпном. Погнались. Глядь! А от загонщиков волки подаются меж дубьев, прямо на нас прут. У меня шомполка была, лисьей дробью катанкой заряжена. Подпустил как следует и приголубил первого. Он носом и зарылся в листья. Матерый, башкатый волчара, аж седой весь. Бил почти в упор. Другой охотник убил ишо одного, малого, остальные с волчицей ушли.

Погрузили на подводу, поехали к дому. Выдернули пробой из притолоки, зашли. С нами был начальник из району, для него и затеяли охоту. Ну, грешным делом, выпили хорошо, даже дюже. Спирт энтот начальник привез, а тогда с этим делом туго было, мы и дорвались. В хате нары деревянные, печурка, дров поленица. Лампа бед стекла. Летом там, как и счас, пастухи жили. Зверье в угол свалили. Больно волк приезжему понравился, все косился на него, хвалил.

Нар было двое, остальные на полу уснули. Тепло. К окошко луна засветила. Помню, долго говорили, вспоминали войну, казаков, с фронта не вернувшихся...

Старик замолчал. Растер на приступке чириком сигарку, закашлялся.

- Просыпаюсь ночью, кой-то ходит вроде по моим ногам. Пригляделся...

- Ну? - не выдержал мальчишка...

- Стоит на передних ногах матерый у окна, глядит на луну. А зад у ево подвернулся, тащится - отнялся... Лежу и не знаю, чё делать. Страх нашел такой: ведь волк с телка поди.

Выставился, морда-то серебрится вся, дергается, скулит. Слышу: волчица голос подала, далеко и горько так... Потом поднял волк голову вверх - кхе-кх-кх, - снова закашлялся дед, - поднял, значит, башку, рот разинул да как завоить! Меня как в прорубь окунули. Да ить такая тоска у ево в голосе, как дитя, жалко стало. Все будто и не спали. Повскакивали, чуть в дверях не подавились, смеху опосля было, все фронтовики с орденами, а волка испугались. Добили в азарте поленьями, стрелять не стали, озверели с перепугу-то. Он, волчара, знать, пораненный был, а ночью очухался. Так волчица всю ночь выла. Собаки бесятся, гавкают, спать не дают, а отогнать боятся.

Домой поехали, а она сбочь по полю бегёт, уже рассветать начало. Срезал ее из винтовки начальник прямо на скаку. Говорит, нечаянно попал, хотел отпугнуть, душу вымотала. Забрали и ее. Старая, знать, долго дружила с матерым, вместе и отошли...

По улице разбредалось усталое, истомленное дневным зноем разномастное стадо. Сухо пощелкивали копыта коров. Женщины и ребятишки встречали, отбивали своих и разбирали по дворам.

- Пойдем, што ль? - поднялся старик. - Вон моя рогатая. Завтра надо к ветеринару вести. Небось опять бегаются, а бугая свели в станице. Придумают же люди - железками коров покрывать! Срам один, тьфу... Скоро так и казаков заменют, самим бы им, умникам, железки... - ворчал дед, шаркая по набитой дороге чириками.

- Зы, пошла-а-а! Зы-ы-ы!

Корова тяжело сопит, косит глазом на старика, с набухшего вымени cedятся редкие капли парного молока. За горой Дюковкой потухает зряя.

Полыхнули по столбам фонари.

Один из первых моих рассказов, апрель 1969 года,

## ГРИНИЧКА

Жил в станице старый-престарый дед. Все давно позабыли его фамилию и имя, звали просто Гриничка. Изба его стояла под яром, так называли ряд домов, протянувшихся по бугру над огородами и терновыми садами.

Дед Гриничка любил петь песни. Сядет, бывало, на завалинку, зажмет отполированный руками костыль и начинает петь. Он пел хорошо, молодым, совсем не скрипучим, как у его полчан, голосом, пел старинные казачьи песни. Закрыв глаза, закинув простоволосую, белую голову чуть назад, он мог выводить целыми днями, помогая песне плавными взмахами руки.

Ребятишки всегда собирались вокруг него, ложились на траву, подперев кулачками в щипках непутевые головы и пораскрыв рты, слушали как сказку. Песни плыли про удалых казаков, про ворогов окаянных, про Дон-батюшку. Песен Гриничка знал много и редко когда повторял одни и те же. Говорят, что дед был лихим казаком-рубакой в молодости, за удаль награжден "Георгием", был запевалой в казачьей сотне от станицы.

Он пел протяжно, с надрывом и какой-то нечеловеческой грустью. Приходили его слушать нередко и взрослые. Сядут вокруг деда па каршу и завалинку, а Гриничка, никого не замечая, как бы разговаривая с самим собой, пел и пел...

Его полчане почти все перемерли, оставшиеся охали и болели, а он ужился со своей старостью. Быть может, именно песни держали дух бодрым, худое тело прямым, а глаза острыми и молодыми.

Только одну песню Гриничка повторял всякий раз, как начинал петь. Это песня о молодом казаке и не получившейся, потерянной любви...

Обыкновенная песня, но, видно, сходна с ней была судьба Гринички, уж больно мороз пробежал меж лопаток:

- Цы-ы-ыганка гадала,  
Цы-ы-ыга-а-анка гадала,  
Цы-ы-ыга-а-анка гадала,  
За ру-у-у-чку бра-а-а-ла...

Старик в этой песне сникал, бледнел морщинистым лицом, долго сидел с закрытыми глазами и шепотом повторял слова.

Жил Гриничка один в полуразвалившейся, крытой соломой и чаканом хате. Получал пенсию за убитых на войне сыновей, изредка забегала прибраться и постирать дочь, живущая на другом краю станицы. Она несколько раз уводила к себе жить старика, но проходило время, он

опять возвращался на свою завалинку.

Много историй и сказок знал дед, но все сказки начинал и завершал удалой или грустной песней. Может быть, смежив глаза, представлял себя молодым, сидящим за столом запыленной казацкой свадьбы, или летел на коне в атаку. Тогда он вскакивал и показывал, как рубали австрияк.

- Шашки вон! - командовал старик, тряс узловатыми землистыми пальцами свой дубовый костыль и одним махом срубал метелки жирной лебеды. Потом садился, долго сидел молча, что-то перебирая сизыми губами, отыскивая, как на четках нужный камушек, и как бы сама собой сначала тихо, потом все сильнее и отчетливее, неторопливо и просторно, как сама степь, с губ его текла песня, грустная, горькая, как полынь, о казачке, не дождавшейся мужа с войны, и сиротинушках детках ее, напрасно убитой горлице, об умирающем ямщике и наказе его или еще о чем-то таком, что сердце сводило печалью, навертывалась горячая слеза. Ребяшня шмыгает носами и вытирает чумазыми ладошками большие, еще глупые глазенки...

А Гриничка все пел! Постепенно голос его креп, старик вставал и, отмахнув корявые руки назад, как бы приглашал поглядеть на это прошлое... Раскатисто, могуче пел о казацких набегах и удалом Стеньке Разине.

Жгуч и пронзителен, взгляд из-под сивых и лохматых бровей! И не приведи Бог, если он отыскивал в ком-то скрытую червоточину! Ходили к нему как на исповедь, ходили за негласным советом: как жить? Чего стоишь? Что можешь оставить после себя?

Гриничка пел, и теплела душа, уходил дурман суетного дня, каждый становился добрей и чище, трезвели пьяные, пьянели трезвые.

## СТЁПУШКА

В апреле на Дон прилетает весна.

Кипят потоки мутной воды, вырываясь из глубоких оврагов, текут по буеракам, оседает с хлопом грязный снег. Хлещут в лицо изморосью вешние ветра, надувают радостью грудь. Солнышко яркое и ласковое, выманивает букашек на припёк, сушит бугры и курганы. На пологом склоне горы станичная ребятня начинает суматошные игры в лапту.

Хорошо весной в степи! Когда сойдёт весь снег, только в оврагах да балках жмутся в тень зимние наносы. Свистят суслики и трепещут над миром солнечными лоскутами ликующие жаворонки...

С раннего детства я любил в эту пору скакать со старым отцовским ружьишком по сырой и свежей степи к многочисленным озёрам на солонцах, к переполненным свежей водой прудам. Ездил верхом в старом казацком седле, слёзно выпросив лошадь у отца, колхозного пчеловода. Тряслись от необузданного охотничьего азарта руки, мог часами ползти по набухшей соками, склизкой пашне к ватагам осторожных гусей и казарок.

И на этот раз, уговорив отца "хоть один разочек" пройтись пешком до омшаника, откуда только что выставили отсыревшие и заплесневелые за зиму улья, всю ночь заряжал патроны и готовил седло. Затемно выехал, так и не сомкнув глаз от волнения предстоящей охоты.

Линялый мерин торопливо ломает копытами звонкий ледок ночного заморозка. Фыркает, тревожно сторонится темных катухов и горбатых плетней. Орут по всей станице хрипастые петухи, где-то у леса яростно брешут псы. Кое-где уже горят окошки в хатах, хозяйки пекут пироги и домашние калачи... Воздух свежий, настоящий на духе талой земли и прелых листьев в садах, сам вливается в грудь, заставляет оживать и трепетать каждую ниточку тела. Хочется петь и ликовать от дикой свободы под опрокинутым решетом вызвездившего неба, лететь за журавлиными косяками, обнять всю разопревшую, просыпающуюся землю.

Выехал на гору и курган. Далеко внизу мерцают редкие огоньки станицы, стучит дизель электростанции. На востоке чуть-чуть затеплился краешек неба. Но скоро все это пропадает за горбом кургана. Обступила непроглядная, предрассветная темь. Конь сам выбирает дорогу, осторожно ступая через рытвины и старую колею. Ехал долго, изредка понукая поводьями дремлющего на ходу мерина. Заря уже взялась вполне, звезды потускнели, гаснут... Ищет что-то в гриве коня утренний ветерок. Стороной просвистел крыльями табунок чирков, уточки покрывают на лету, попискивают селезни. На озими завозились, заорали спросонья грачи.

И вдруг! Ударил разом над головой, встрепенулся и забился в песне жаворонок, за ним другой, третий, десятый... Вся степь словно и ждала сигнала - вспенилась жизнью: свистнул суслик, затоковал-зашвыркал где-то в далеких потайных бурьянах белокрылый стрепет. Трубно и волнуяще "К-а-га-а"... = упало с неба. Ушел по спирали, набирая высоту, небольшой табунок гусей-гуменников. Тонко заблеял и испуганно смолк случайно залетевший в степь и потерявшийся в ней бекас. Степь проснулась! Свежая и звонкая, чистая и горластая, полная света, простора и девичьего дыхания талой земли. Горизонт тонет в дымке предрассветного,

дрожилого и светлого тумана. Солнце выкатилось, и торопливые ручьи, подмерзшие за ночь, снова забулькали, потекли поверх льда и засветились искрами небесного огня...

Вдали показались колки. Это небольшие круглые островки густого осинника среди больших плешин вскаменевших сланцев. Вокруг колков разлилось чащей широкое и темное озеро талой воды. Колки лежали в естественной котловине, и внешние потоки с полей сливались, плескались белыми барашками волн. Над водой носятся, то, взмывая вверх, Тл падая на озеро, многокрылые табуны уток.

Ветер усилился, треплет гриву коня, тревожно поет в стволах ружья, мелко рябит лужи. Чувствуешь простор и бесконечность неба и земли. Слышны первобытные голоса птиц, шелестят бурьяны и качаются бутоны кровавых тюльпанов. Представляешь древние скифские кочевья, тучные стада скота и яростные сечи в этих степях. Опаханные древние курганы, о которых по сей день, ходят легенды, раскиданы по всему горизонту. Курганы, по преданию, натаскали воины своими щитами над могилами вождей.

Привязав коня у одинокой яблони-дички, я принес ему соломы, разнуздал и ослабил подпругу. Тревожит сердце призывное криканье уток, где-то жвывает селезень. В затопленном осиннике воркует дикий голубь-ветютень.

Солнце уже высоко поднялось над горизонтом и полыхает,... отражаясь зеркалами бликов в лужах, ручейках и ряби озера... слепит теплом глаза. Медленно бреду вдоль берега, утки близко не подпускают, взлетают и, испуганно крикая, уходят на дальние озера. Прячусь за одинокую скирду прошлогодней соломы у самой воды, грязь у берега вся в следах уток и перышках, навеваются кормиться в мякину соломы. Изредка, ритмично дую в деревянный манок. Из-за колка лениво откликается селезень, но, чуя фальшивый зов, не спешит подлетать. Над озером протянули две казарки, перевалив колки, маленькими точками пропали за горизонтом. На другом берегу озера объявилась лиса. Она бродит по берегу, тоскливо смотрит на плавающих вдалеке уток, потрошит вытявшие мышинные гнезда. На лису пикируют отчаянные чибисы, тревожно и печально плача.

Вдруг рядом со скирдой, на отмель, плюхнулась пара крикв. За ними прилетел табунок чирков, и дружно взялись шелушить прошлогоднюю мякину. Отряхиваясь и переваливаясь на ходу, к ним деловито заспешила криква, прогоняя чирков от мякины. Сдерживая дыхание и азартную дрожь в руках, подвожу прыгающую мушку под селезня, далеко отставшего от утки. Он идет не спеша, красивый в свадебном наряде и настороженный. Недоверчиво косится на скирду, крутит изумрудной шеей. Отдачей пихнуло плечо в солому, шибануло в ноздри терпким запахом дымного пороха...

Вернулся к придремавшему на солнышке мерину, сунул селезня в рюкзак, подтянул подпругу. Воронок ловит меня теплыми губами за плечо, выпрашивает хлеба с солью... Завтракаем вместе. Скачу к Жуковским прудам. С озими тяжело поднялись три дрофы, взмахивая большими крыльями, скрылись за бугром. Беснуются на курганах суслики, столбиками стоят у нор, свистят пронзительно и тревожно, передавая эстафету опасности другим.

Не доехав до пруда, спешил, стреножил коня в неглубокой, очистившейся от снега балке. Сбросил тяжелую фуфайку и в старом, прожженном у рыбацких костров свитере осторожно крадусь к воде. Из затоплено бурьяна взмывает пара стремительных чирков. После выстрела, селезень комом падает в воду. Закатываю отцовские болотные сапоги и стволами ружья с трудом достаю добычу. Над прудом вспугнутый выстрелом поднялся громадный табун уток и пара гусей, из залитых водой старых камышей. Я падаю в бурьяны, с надеждой "авось да налетят!" и костерю себя за то, что пульнул в чирков и разогнал заветную дичь.

Солнце выкатилось в зенит и стало по-летнему припекать. Над полями дрожит кисея марева, ветер затих. Уж который раз с сердечным трепетом слушаю высокие стоны гусиных клиньев, плывущих от прозрачных весенних облаков.

Возвращаюсь домой, Часто оборачиваюсь и, запустив руку в привязанный к седлу рюкзак, трогаю перья селезней, вытаскиваю их, любуюсь и даже нюхаю горьковатый дух их чистого и плотного пера.

Около степного полевого стана встретил колхозного бригадира по кличке Дрын (длинный кол) Он хозяином ходил по полю, мял в руках землю, ссыпал её с ладони в холщевые мешочки. Над головой таял дым сигарки-самокрутки. В станице бригадир слыл суровым и "бессердешным", многие его боялись. Никто не видал улыбки на его задубевшем в полях лице. Дрын, он и есть дрын...без души.

- Здравствуйте! - кричу ему робко, подмывает похвалиться своей добычей и показать нарядных селезней.

- Здорово, коль не шутишь? Ты куда в такую рань ездил? Охотничал штоль?

- Ага... - гордо и степенно отвечаю ему. - Двух селезней добыл, можно и больше было, да лиса разогнала уток, - начинаю я увлекаться, - и казарок... и гусей проворонил... поспешил

стрельнуть по чирятам.

- Гляди, споймает тебя наш мельцанер Припадошный. Охотничий билет в твои года не дают, гляди... ружей он страсть, сколько переломал... - бригадир подходит к своей казенной бричке и что-то записывает в журнал.

- Не поймает!... Он в пойме на реке ждёт, а я по степям люблю ездить. Кто ж подумает, что по степям утки есть? Что, дядя Коля, бороновать и сеять скоро?

- Да вот решил проведать землицу...

В станицу едем рядом. Маленькая кобылка торопливо перебирает забрызганными грязью ногами. Живот её раздуло.

- Жерёбая, язви иё! - шурясь от света, ласково говорит бригадир, - скоро опростается, последний раз еду, жалко ведь... Давай-ка твою мерина запрягём, а? Ишь какой гладкий, зажил... пущай поработает.

Из-под ног лошади горохом брызнули какие-то перелетные пичуги. Конь испуганно всхрапнул и запрядал ушами.

Мы впрягли его в бричку вместо жерёбой кобылы, а её привязали уздой сзади. Я сел с вожжами на передке, а Дрын привольно раскинулся в дощатом коробе на старом тулупе поверх вороха пахучего сена. Спросил в мою спину:

- Ты в каком учишься?

- Восьмой класс кончаю в этом году.

- Моя Нинка в шестом, отличница, казачью родову не подвела, с норовом девка...

Объезжали овраг. Из него по пояс высунулся столетний тополь. Я знал, что на этом тополе повесился Михаил Немков.

- Дядь Коля? А почему он повесился?

- Кто?

- Да Немков-то?

- Спьяну, видать. Ведь из-за водки этой треклятой, сколь народу сгубилось почём зря... я на фронте не пил ни грамма, потому живой... и... висельник энтот был прибудный в станице, не казак... наша родова не вешается... Ты когда-нибудь слыхал, шиб казак, самодуром, в петлю голову сунул?

- Не слыхал...

- И я не слыхал! От, дурак, Минька! Прости Господи, грех осуждать мёртвых... И чё ему не жилось? Меня, к примеру, хучь насильно возмись совать в петлю... Хрип не одному зубами порву, а не дамся... Уйти почём зря от этого простору... от жаворонков, от землицы пахучей... от хлебов спеющих на ветрах вольных... от степи милой... я всюю нашу Расею поизъездил... в Германиях немцев дожимал, весь истрелянный, осколками шинкованный. В рукопашных боях два раза штыками ихними проколотый... Повидал смертей... на себе чуял поганый дых ие,... а жить остался токма на тоске по родным краям... И нету их краше!!! Ты только погляди, - он внезапно ловко и сильно прыгнул на землю и, держась за коробок искореженной в боях полусухой рукой, осмотрелся кругом и потом глянул мне так в глаза, что оторопь взяла... были они у него синие-синие, шальные и глубокие, родные и весенние... - Ты поглянь! Как она дышит, поёт и ласкает нас ветрами пахучими... как соками своими поит хлебушек... Милая ты моя... привольная... Нету краше тебя... Стёпушка...

## ДЕД

Вызрело лето. Настоящее. С пьяным запахом ландышей, сырой дубравы и свежего сена. На станицу скопом налетели тучи, рухнул гром, вслед за упавшей куда-то под гору молнией зашелкал по крышам дождь, загромыхал и опустился непроглядным ливнем, тугим и чистым. Земля враз покрылась пузырящейся водой, горохом замутил её шелкучий град, и потекли, захлюпали мелкие ручьи, переплетаясь и сливаясь. Свежо шибануло запахом озона, сыростью, разопревшей соломой и травой. Еще и еще вполнеба замелькали изломанные молнии, с треском и хрустом разломилось небо над головой, да так, что услышала издавна глухая моя бабушка и закрестилась, зашептала молитву на мутную и темную икону в углу избы.

- Затвори окно, кому говорю! Молонья-то любит сквозняки, как даст, и сгоришь в одночас, неслух! - Она турнула меня с подоконника и причастила подзатыльником, закрыла окно.

После дождя выглянуло парное солнце, по-весеннему запел и срезался скворец, я стоял посреди залитого водой двора и шурился от тепла и света. В садах закричал угод, выкликая всех на волю, успокаивая, что дождь пронесло и пора заниматься своими делами. Деловито разгребали навоз пересидевшие дождь в катухе куры, склевывали вылезших в сырость дождевых червей, чулюкают голодные птенцы воробьев под крышей.

- Опять рыбалить? Черт ты несет в такую пору, ить холод там, на реке, да и вода опосля дождя мутная!

- Не-а... Бабунь, рыба самое хорошо клюет. Поеду, авось голавлей нахлестаю! - кричу ей на ухо.

- Э-э-э-х! Сидел бы дома! Привезешь опять мелочи голопузой! Ни щербу сварить, ни сжарить. Чистить тошно, - ворчит она, - хоть бы кота раз досыта накормил...

Но я не слушаю. Бабка настырная, может и уговорить, придумать какую работу по дому. Ей, поди, уже надоело с сестрой Шуркой водиться, спихнет с рук, и все, отрыбалился... Сняв с крыши летней кухни длинные мокрые удилища, закатал штаны выше коленей и понесся по лужам на старом дребезжащем велосипеде. На колеса густо прилипла глина. Свернул на обочину и бешено помчался по разомлевшей от дождя и тепла траве. Метелки пырея больно хлестнули по икрам. Солнце рассыпалось радугой. Тепло и сыро. Хорошо...

Подъехав к реке, бросил на влажный песок велосипед и торопливо размотал удочки. Тихо... Тихо... Ни ветерка, ни шелеста. Над почерневшей водой плавает прозрачный парок.

Соскальзывая, побежал к заветному месту, размотал и закинул удочки, плюхнулся на земляной камень, отвалившийся от яра. Торчмя воткнулись в воду поплавки гусиных перьев, чуть вздрогнули: мальки баловались насадкой.

- На тесто, што ль?

Я испуганно обернулся. За корягой под старым рваным и мокрым плащом сидел дремучий дед. Носом к коряге приткнулась плоскодонка, ее мотало течением и прижимало к берегу. В лодке плавала рыба, подлещик высунул голову из мутной жижи и судорожно ловил ртом воздух.

- Засыпает, поймал на жариво... Ты чей будешь?

- Я? Да бабки Калиски внук, может, знаете ее?

- Ну-у-у? Весь в деда, видать, бывалыча, мы с им рыбалили. Ох как рыбалили! Давно это было, ишо до леварюции...

- Убили его в Ростове, отец и не помнит его.

- Дык я ж знаю, с ним был.

- Чёй-то врешь, дед? Бабка про тебя ни разу не сказывала!

- От тифа он помер. Как раз пошла кутерьма: то белые, то красные, то моряки, то хохлы, хрен разберешь. И нас с Иваном мобилизовал Деникин. Да попали в разные сотни... А уж в Ростове, слышу, шумит ктой-то:

"Митрий?!" Гляжу, ет он, Иван! Стриженный, глазищи одни остались, весь трясется от худобы. Поговорили с им как полагаеца. "Помру! - гварит. - Хвораю дюжет, наверно, тифа проклятая привязалась!"

Через три дня узнал: помер он в тифозном бараке гошпиталя. Я опосля тожесть ево прихватил, тиф-то, еле очухался...

Я вытащил уже две красноперки и пару ершей. Клюет хорошо, да дедов люблю без памяти и опять отвлекаюсь от поплавок.

- Дед!

- Чё?

- Ты где живешь?

- В Скурихе, родимой, иде ж ишо! За Малыком моя хата, а ране жил в Самодуровке, да сгорел дом мой.

- На перемет, что ли, берешь лещей?

- На ево. Счас проверять поеду, люблю боле всего переметом рыбалить. Бывалыча, таких сомов таскали, с хряка, вот те крест! Казаки одново на паре быков везли, пудов десять был и хвост с арбы до земли висел.

- Врешь, дед!

- Вот те, несговорчивый народ пошел, мал ишо брехуном тыкать стариков. Чему тебя в школе учат? - Дед обиделся, отвернулся и закурил. Густо потянуло горьким самосадам.

- Дед!

- Ну чё тебе? - Ты не серчай, я читал, что по три центнера сомы бывают, в Чехословакии у боен разводят их.

- Брешут люди... Такова сома ничем не вытащишь, покамест сам не сдохнет.

Разведрило. Небо совсем очистилось, а земля, умытая от пыли ливнем, нежилась косыми лучами заходящего солнца.

- Ишь дурит! - Дед мотанул патлатой головой на другой берег реки, где бесновались жерехи, гоняясь за мелочью. - Живца счас поставлю с тово краю иль ракушку, он любит ракушку пососать... Отец-то пчеловодничает?

- Ага. У Маркина пруда точок в этом году.

- Говорят, поморили опять пчел с эраплана?

- Потравили, нечаянно опылили испарцет, сейчас взяткок, а их половины нет... Отец ругается.

- Бабка не хвораить? Калистра Семеновна?

- Нет пока, она зимой завсегда помирать собирается.

- Ты ей, гляди, про деда Ивана не говори, что я тебе порассказал! Она мне и так выговаривала, что, мол, ты ево загубил!

- Почему?

- Жениховался я, парень, с бабкой твоей, сватов засылал, да обскакал меня твой дед, увел из-под самова носу. А Калиска-то была! Как в церкву придет, все не на попу, а на ее глядят, крестятся вроде, а под губами мысли грешные... Но суровая была, как кремень. Никого не подпускала. Такие казаки сватались, а она Ваньку избрала! Вот помирать скоро буду, а так баб и не понял. И ты век не ломай башку, все одно не поймешь. Темный они народ, сроду не угадаешь, чё они норовят сотворить! Опосля Ивановой смерти ишо раз сватался. Не приняла. Гварит, мол, ребятишками буду жить. Так и не приклеилась к ей грязь никакая до самой старости. Надрывалась, а тянула одна. Святая у тебя бабка, чисто святая...

Старик замолчал и долго глядел куда-то через реку, щурил глаза, словно пытаясь там что-то разглядеть из далекой молодости.

- Вот гляди, текёт перед нами вода, спешит, а ить река и сто, и двести, могёт быть, тыщи лет тут была, а вода все разная и разная. Так и в жизни... Выкинет тебя из родничка, потом скатит в реку да как подхватит, закружит, понесет. Где и об корягу ударит, где замутит, то на стремя выкинет, то в затишь. Не успеешь оглянуться, а вот уж и море, с солью перемешает, и погонят ветра мертвую воду невесть куда. Так и на земле все спешит, живет и опять в нее прахом ложится. Вроде та же земля, ан нет, прежняя жисть утекла, другая уж толчется и спешит, об те ж коряги бьется... Эх, жизнь-жизня! Живет человек, мается, работает, деньги собирает, детей рожаить... А потом хлоп! И нету ево... Помер совсем. Походят-походят к нему на могилку, погорюют... А время пройдет, и яичек на пасху никто на бугорок не положит. А ить жил человек! Ай не жил? Кто ево разберет...

...Солнце село. Я смотал удочки, насадил на кулан десяток рыбешек. Дед залез в лодку, повозился там и выкинул на берег пару больших лещей и красноперого язя.

- Возьми, никудашний у тебя улов, бабка засмеет. Не гвари, что я дал, порадует за внука. Калиска, она ить сама любила бреднем рыбалить, за то и оглохла в молодости, застудилась.

Дрожащими руками нанизал я на ивовый прут тяжелых рыбин и заскрипел педалями домой сквозь притихший и засыпающий лес, билась по коленкам подвешенная на руль тяжелая низка, и жалко было до слез, что стемнело и никто по станице не увидит богатый улов.

Дня через три сидели на ступеньках клуба. Щелкали семечки, ждали дневное кино.

- Смотри, хоронят кого-то! Айда поглядим! Мимо клуба текла густая толпа людей, причитали бабы, утирали глаза платочками. За гробом шел военный.

- Сын Минаича, - признал кто-то, - в полковники вышел!

Процессия остановилась. Тонко и жалобно заголосила пожилая женщина, упала поперек гроба. Ее оттаскивали, уговаривали, успокаивали старухи в черном. Военный кусал губы, глаза покраснели, за его руку держалась маленькая девочка, шмыгала носом, испуганно косилась на гроб.

Мы пролезли сквозь толпу поближе. У меня екнуло сердце: в гробу лежал тот старик рыбак. Борода лопатилась, закрывала грудь, из острого хищного носа пророс седой волос. Синие губы тонко спеклись. По ним ползали две мухи, старуха в черном платке отгоняла их взмахом сморщенной руки, поправляла медный крест на груди и белую полоску с церковным писанием вокруг лба. А сама глухо и больно говорила кому-то, может, и самой себе:

- Давно ить не ходил рыбалить, а ет убрел с ночевкой, - она поднесла к глазам скомканный платочек, вытерла набежавшие на дряблые щеки слезы, - а явился и говорит: "Поглядел, Даша, лес я, реку поглядел, рыбку половил, давай детям телеграмму, пушай едут, помирать седня буду". Я ведь думала, шутит старый, а он свой казачий мундир надел, два "Георгия" нацепил, умылся и вышел на завалинку посидеть, вышла я, а он сидит холодный и в руках яблоки зеленые-е-е. - Опять закричала, заголосила по мертвому...

Казаки перекинули рушники через плечи, старухи вытащили табуретки из-под гроба, и пошли-понесли.

Гроб тяжело обвис на сутулых плечах шести стариков. "Полчане ево", - опять сказал кто-то. И тут мне стало не по себе, представил, что один из них мой дед, и долго-долго вглядывался в исклеванные морщинками их лица, искал того, которого не помнит даже отец, родившийся в год революции. Потом подумалось, что, не будь бабушка такой разборчивой, и не было бы меня на свете, был бы кто-то другой, и голосила бы она, а не эта старуха сейчас над гробом, все чужие... И военный этот, и его испуганная дочка пусть благодарят мою бабушку, их тоже бы не было, был бы кто-то другой. Я весь сжался от своего страшного открытия, забыв враз про всю бабкину ругню и шлепки, поверил покойному, что старуха и впрямь святая, раз выбрала себе именно деда Ивана, раз знала, что именно я хочу поглядеть этот свет, порыбалить, походить с отцом на охоту,

заиметь самого лучшего друга Лешку...

На кладбище готовая могила. Гроб заколотили, опустили в яму, закрыли дубовыми плахами. "Два года назад плахи наколол дед, знать, чуял смерть. Да... И гроб сам сделал, в сарае стоял, на шипах смастерил, как игрушку..." - передавали люди друг другу чьи-то слова, качали головами...

По плахам гулко стучали комья земли. Те, кто засыпал, работали молча, старательно прихлопывали лопатами, подравнивали выросший холмик; отерли вспотевшие лица рушниками, на которых принесли гроб, и закурили. Отдыхали, переговаривались вполголоса о живых делах...

Побрели люди по кладбищу к воротам, на ходу останавливаясь и читая полустертые надписи на крестах, по случаю навещая могилки умерших близких, а то так с делами и некогда. А позади белел новый дубовый крест с венком на плечах. Все уходило, повернувшись спинами к крестам, лицом к своей жизни, своим заботам, радостям и горю... До поры до времени не веря в свою смерть, отгоняя мысли, которые толпятся в голове и пытаются: "Где ж мне-то лежать? В каком углу кладбища? К родным бы поближе..."

В траве трещали кузнечики, кладбище поросло густым пыреем. Никто не косит здесь траву на сено...

- Пойдем в клуб, в бильярд сыграем, скоро кино, - предложил мне кто-то из ребят.

- Нет, я поеду порыбачу. Сегодня зорька будет хорошая, ишь как парит!

Приехал на реку, сбежал с удочками на заветный земляной камень, забросил их и вдруг почувствовал что-то спиной, кто-то смотрел на меня сзади, и тяжел и пронзителен взгляд до самого нутра. Обернулся испуганно, уже готовый закричать от страха... Но деда не было за корягой. Еще примятая трава хранила следы, где он сидел, лежало грузило от перемета, и жухлым комом валялся старый и рваный плащ, под которым пережидал ливень...

Я разделся и, отойдя от удочек повыше, переплыл на другую сторону реки, упал на горячий и белый, промытый весенним половодьем песок. А в глазах все еще стоял дед, на нашем казачьем языке что-то толковал, хмурил брови и мотал бородой-лопатой, жестикулировал уластными черными пальцами.

Я еще раз оглянулся под руку на черную корягу, прилипшую к яру, и опять никого не увидел... Только течет и течет река, как сто, двести и тысячи лет назад, а вода все разная и разная...

## ПО ЧЕРНОТРОПУ

Осень посшибала листья в лесу, накрыла землю голубым и прозрачным небом. Первые заморозки выстекли тонким ледком лужи. Зори, прохладные и сырые, знобят кожу. Выцветшие пустые поля курганятся скирдами соломы, чернеет вспаханная озимь. Улетают в теплые края птицы, и вот-вот должен выпасть снег. Все чаще наползают серые тучи и моросит мелкий, как туман, обложной дождь. Развезло дороги, давно не выгоняют в поля скотину. Почерневшие приметки сена мокнут в огородах, жмутся к сараям. Потом опять сделалось ведро, засветилось холодное солнце, заголубело небо без единого облачка.

Как хорошо в эту пору! Печаль уходящего лета сквозит в каждом опавшем деревце, каждом озере, усыпанном конопинами листьев. Выкуневшие русаки и нагулявшие зимний мех лисы с нетерпением ждут снега, их далеко заметно в пустом лесу. В это время открывается охота по чернотропу.

Выходим с отцом на рассвете. Возбужденный, радостный гончак Полет носится вокруг, тычется носом в приклады ружей, повизгивает от нетерпения. Переходим пустошь и огороды, вступаем в сумеречный лес. Дубовые листья отволгли за ночь, пружинят под ногами, бесшумно обтекают сапоги. Полет ходит большими кругами, вертит хвостом, принохивается и изредка взбредивает по ночному лисьему наброду. Вышли на поляну. Ее пересекают отсохшие протоки от озера Панского. Они желтеют высохшей кугой, закаменевшая грязь изрыта копытами коров. Поляна покрыта густым ворсом маленькой пушистой травки. На ней серебрится налет инея, следы остаются зеленой кривой дорожкой. Солнце брызнуло через голые кроны деревьев, сверкнули зайчики на мокрой резине сапог.

Отец, чуть сутулясь, идет стороной, крепко прихватив рукой на плече ружейный ремень. Отец, белый как лунь в свои сорок с небольшим, был белым всегда, сколько я себя помню. Когда мы с ним приходили в станичную баню и раздевались, гомон и шутки смолкали, люди старались уступить ему свой тазик, место в парилке и скамью. На отце не было живого места. Немецкий пулеметчик прошел под Ельней добровольца Сталинградского тракторного завода. На животе отца огромные розовые и страшные рубцы шрамов. Было много операций в госпиталях, резали и после войны при заворотах усеченных до предела кишок. Но еще больнее было смотреть на сутулую и худую спину, откуда унесла разрывная пуля кусок мяса величиной с мой детский



кулак. Глубокая и черная яма обросла волосом.

Жутки, коротки рассказы отца про войну. Про минометные обстрелы, про расстрел перед ротой нашего солдата, отрубившего саперной лопатой пальцы левой руки, чтобы попасть в госпиталь и остаться в живых.

Отец получает пенсию за инвалидность и шестьдесят рублей ставки колхозного пчеловода. Для семьи этого маловата, но никогда не пользовался он возможностью пожить за счет колхоза или пасеки. Мед с пасеки сдавал на склад до единого грамма, а любителей сладкого с пустой тарой заворачивал восвояси. Меня ни разу не ударил, не закричал, но боялся я его и боюсь до сих пор пуще огня, как боялся своей совести. Помню, как-то зимой мы ехали с ним по полям на лошадях, запряженных в сани, он запретил мне набрать початков из брошенных буртов кукурузы для домашней птицы, потом, когда я принес из-за реки, с Черных озер зимой щучат и карасей из чужих самоловок, он сам налил керосин в фонарь и отправил ночью назад, за шесть километров. Я шел через темный лес и ни разу не оглянулся, хотя очень боялся волков, но еще пуще взгляда отца, который прожигает насквозь. После окончания пятого класса, на летних каникулах он хорошо отбил косу, научил точить ее и привел меня к началу Скобцевой балки. Показал, как надо косить, и ушел работать на пасеку. Заставил сначала возненавидеть косу и работу, а потом увлечься, увидеть плоды своего труда - ровные валки скошенной травы, и полюбить работу. Отец воспитывал черным трудом. Это жестоко, но единственно верно. И иной раз хотелось погонять мяч или до посинения играть в догонялки в жаркую пору на реке, порыбачить, а вместо этого приходилось вставать на заре, смахивая рукавом пот со лба, махать литовкой, по-мужски вышагивая по стерне. На ходу прихватывать глоток-другой теплой воды из алюминиевого жбанчика, а вечерами падать с недоеденным куском хлеба в руке на жесткую постель пасечной сторожки с болью усталости во всем теле. Руки грубели, лопались и костенели на них ранние мозоли, наливались твердостью мышцы. В том же году я уже шутя нарубил дров на всю зиму, старался встать раньше его и напоить корову. Он никогда не поучал, а просто показывал, как надо жить, как держать рубанок, ножовку и вилы, чего стоит деревянная ложка пахучей пшенной каши... Сам он вставал затемно. Убирал скотину и до завтрака успевал сделать улей для колхозной пасеки в заваленной смолистой стружкой домашней мастерской или сколотить десятка два пчелиных рамок. Темные, мозолистые руки всегда были чем-то заняты. Невольно находилось и мне дело. Под пение фуганка отец рассказывал дивные вещи. Про Исаакиевский собор, чудо, сотворенное руками человека, где ему пришлось побывать во время войны. Про воздушные бои на Халхин-Голе, интересные истории из книг. Непременно просил, именно просил: "Учись! Учись, сынок! Читай больше книг, это вторая школа. Как вырастешь, посмотри в Ленинграде, что может сотворить простой человек! А пока читай и читай!" Сам отбирал и приносил из библиотеки литературу, да так увлек меня этим, что уже к шестому классу нечего было прочесть нового в станице. Заправив с вечера десятилинейную лампу керосином, я залезал на горячую русскую печь, задергивал занавеску и под ворчание бабушки витал в далеких странах и бесчисленных приключениях до самых кочетов. На уроках клевал носом, плохо знал правила, но, на удивление учителям, писал почти без ошибок. Сам отец читал все свободное от работы время.

Его не любило и побаивалось начальство, потому что на колхозных собраниях последнее слово почему-то всегда оставалось за больным и седым пчеловодом.

Одна только непобедимая страсть у отца - он рыбак и заядлый охотник.

...Прошли сквозь лес до самой реки. Она обмелела за лето, появились новые косы и острова. Прозрачная до самого дна вода дохнула холодом, запахами водорослей и рыбы. Отокнувшись от вербы плоскодонку, вычерпали из нее зеленую закисшую воду. Отец дал мне весло, и, сидя на корме, я изо всех сил стараюсь грести с одной стороны лодки поперек течения, как он меня учил. Получается, видимо, неважно, отец хмурится и указывает рукой место на берегу, куда нужно причалить. Под дном проплывают палые листья, на глубине видно каждую травинку и рыбку. Ползают ракушки, оставляя в песке бороздки. Черные коряги обросли водорослями и тиной.

Вытащили лодку на берег и зарядили ружья. Полет сам переплыл реку и теперь, встряхиваясь, осыпая песок брызгами, носится по хворостам. Одиноко и пугливо протянула над рекой тройка уток. Терновые кусты обсыпаны синими переспелыми ягодами. Схваченный заморозком, дикий терн приятно кислит и вяжет во рту. Вдруг тишину вспарывает громкий, захлебывающийся лай. Гон...

Кто не испытывал дрожи в руках, слушая голоса гончих, сдерживая стук взбесившегося сердца, вряд ли поймет, что такое гон! Полет споро идет по горячему следу зверя, выходя на большой круг. Изредка его плач замолкает, он сбивается со следа, потом опять заливается ликующе и звонко: "Ах-ах-ах-ах-а-а..." Слышишь только один этот звук, и больше ничего не существует в целом мире. Гон приближается, глаза лихорадочно бегают по реву от собачьего взрыда лесу. Слышится шорох палых листьев, и на поляну выкатывается русак.

Громадными прыжками, закинув голову, прижав к спине уши, он летит, едва касаясь земли, мимо отца, почему-то опустившего ружье, прямо на мои вышедшие из повиновения, прыгающие стволы. Гулко бухают в притихшем лесу выстрелы, заяц свечой взмывает вверх и катится по дубовым листьям. Полет все еще доходит по следу, а русак стеклянным глазом смотрит в небо, подмывая свой кошачий ус. В воздухе завис пороховой дым, запах увядающего леса и почерневшей от дождя травы.

- Доше-о-л! - ору я с перепугу, еще не веря, что попал в стремглав летящее привидение.

Отец подходит, поднимает за задние ноги русака, и, наконец, улыбка чуть трогает его губы.

- Редкий заяц, редкий. Таких больших еще не убивал, а глядишь, из тебя стрелок и получится, ловко ты его, влет! Я бы, наверное, смазал. - А сам хитро улыбается и гладит рукой по шерстке обвисшего зайца. - С полем тебя, сынок, с добычей...

Я привязываю зайца за спину и при каждом шаге чувствую его тяжесть. Булькает, плещется во мне, внутри, охотничье счастье...

Идем дальше. На берегах лесного озера пламенем разлились заросли калины. Листья облетели, а несобранные дикие ягоды будут гореть всю зиму. Полет снова ищет след и в густом осиннике натек на него. До самого вечера лиса водила собаку по большим сбивающимся кругам. Наконец она вывернулась, красная, как ломоть закатного солнца, но самоуверенность, влезшая в меня после удачного выстрела по зайцу, направила дуплет далеко позади рыжего хвоста, и тут же ударило единственный раз за день ружье отца.

Через реку переплыли в сумерках. Над головой свистят крыльями невидимые табуны уток. Еще не улетели в южные края. У косы гоняются за мелкой рыбешкой судаки и жерехи. Бредом по притихшему засыпающему лесу. Собака устало плетется сзади, сонно натывается на сапоги. Из станицы слышно радио. Динамик-колокол от радиоузла разносит по всей округе просторные русские песни. Прохладный осенний воздух резонирует, придает объемное звучание, и кажется, что песни исходят с неба, поют темные луга, лес, высыпавшие крупные пушистые звезды.

Шел и вспомнил рассказ отца, как говорил ему в ташкентском госпитале усталый и старый хирург: "С такими ранениями, товарищ младший политрук, выживает по статистике один из сотни. Молите Бога, что попали ко мне и выпало свободное от операций время, чтобы с вами экспериментировать..."

Один из сотни? Значит, и я чудом живу на земле? А те девяносто девять человек, которые умерли за этот лес, за нашу землю и реки, за звуки русских песен, плывущих над ними? Разве они хотели умирать, разве неохота им было учить жить детей, ходить на росных зорьках за косой? Не-е-ет... Разве можно так, чтобы все это кончилось? И невольно сжала рука приклад обвисшего на плече оружия, которым меня научил пользоваться отец...

## КУПОЛ

### Исповедь батюшки

Мы с другом учились в Ленинградском институте. Увлеклись так чтением Блаватской, учением кришнаидов и Рерихов, что после третьего курса решили ехать на Тибет, искать легендарную Шамбалу. Готовились основательно, целый год ходили в альпинистскую секцию, накопили горного снаряжения... Скопили денег и рванули по транссибирской магистрали на поезде к границам Монголии, которую по слухам, можно было легко преодолеть, а там уж рукой подать до Тибета...

Денег хватило только до Красноярска... Бродили голодные по городу... Я предложил другу разгружать вагоны, чтобы заработать на дальнейший путь, но тут ему на глаза попался старинный храм с ржавым куполом.

О! - воскликнул он, - у нас же с собой альпинистская справа, давай попу, покрасим купол, денег с него слупим...

- Давай, попробуем, - нерешительно согласился я.

Нашли священника, друг стал торговаться:

- Поп, а давай мы тебе купол покрасим?

- Небось, дорого сдерёте?

- Сколько дашь, - вступил я в разговор.

- А если дам совсем мало, - улыбнулся он

- По совести! - обрубил торг мой напарник.

Ударили по рукам. Купили на его деньги краски и забрались на церковь.

А день был холодный, ветреный, небо затянуто тучами, зарядами налетал снежок. Под купол-то залезли, а вот как на него взобраться? Отрицательный угол, я взялся за жестяные ребра купола - они шевелятся, еще до революции последний раз его красили. Друг меня подсаживал, держась за эти ребра, я кое-как влез к кресту и закрепил за него веревку...

Стали красить... Небо разведривало всё больше, полыхнуло тёплое солнце... Все облака угнало за пределы горизонта, благодать такая открылась взору и душе... Красим, к вечеру - теплынь, солнце играет, ласкает нас и греет... И тут как солнечный удар снизошел на нас... Закончили, сидим на куполе и встретились взглядами... Тут у меня и вырвалось...

- Какая Шамбала?! Какая Шамбала!? Ты посмотри вокруг! Всю землю нашу с этого купола видать, всю историю великую... А мы прёмся в чужое...

- А ты прав - согласился друг.

- Батюшка дал нам денег ровно столько, что хватило домой до Ленинграда... Друг мой тоже окончил семинарию, служит в церкви...

Господь вразумил нас, загнал на купол, чтобы мы увидели Россию...

- 
- [Комментарии: 1, последний от 06/10/2008.](#)
  - © Copyright [Сергеев Юрий Васильевич](#) ([knyaj@mail.ru](mailto:knyaj@mail.ru))
  - Обновлено: 17/07/2006. 46к. [Статистика.](#)
  - [Сборник рассказов: Проза](#)

Оценка: **7.71\*9** Ваша оценка:

не читал

OK

---

[Связаться с программистом сайта.](#)